

НАДЕЖДА НЕЛИДОВА



ЖЕСТОКИЕ
ПРАВЫ

КОГДА ЖЕ
КОНЧАТСЯ
МОРОЗЫ

Надежда Нелидова
Когда же кончатся морозы
Серия «Жестокые нравы», книга 1

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18170022
Мультимедийное издательство Стрельбицкого;*

Аннотация

Морозы убили всё живое. Сковали поля и реки, человеческие отношения. Запустили, заледенели, спят летаргическим сном сердца и души. «Крепитесь, люди. Скоро лето». Разбудит ли сонное, мёртвое царство долгожданная сорокаградусная жара?

Содержание

САМАЯ ГЛАВНАЯ ВРАЖИНА	4
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Надежда Нелидова

КОГДА ЖЕ КОНЧАТСЯ МОРОЗЫ

САМАЯ ГЛАВНАЯ ВРАЖИНА

– Как, Шурка? – старик тронул за плечо женщину, сидящую в соломе. – Внуши себе: ты баба, с тебя спросу нету.

– Отстань, дяденька Иван! Всё сделаю...

– Ты вот что, девка. Коли убежать наострилась... Ты, когда убегать-то будешь, знай: встретятся наши стёжки-дорожки, – он поднёс к её глазам тяжёлый, в старческой шерсти, кулак.

В куче спящих людей зашевелился парень. Поднял всклокоченную голову:

– Чего шушукаетесь? Вали сюда, Сашурка, всё одно завтра смерть...

Подождал и, вздохнув, снова зарылся в солому.

– Ну, с богом! Она нас ещё спасёт, выручит Александра наша, – старик вёл Сашу, как больную, к дверке. Негромко, аккуратно стукнул.

– Товарищ... Ты к дверке придвинься... Я про бабу, бабочка тут...

– «Придвинься», – передразнили снаружи. – Придвинься, а ты чем по башке. Товарищ нашёлся.

– Баба шибко мучается. Ни сном ни духом... Прибилась вчера в лесу.

– Завтра разберут, прибилась или нет.

– Женское у неё. Маётся, стонет, – дрожащим от злобы, унижительным голосом уговаривал старик. – Ты её в лопушках постереги – и обратно. Стеснительная баба оказалась.

Саша заученно охнула – старик больно ткнул её локтём в бок. За дверью молчали. Потом сказали зло: – Возись тут... Старик, от двери отойди, бабу вытолкни. Да не копайся, чёрт!

Старик крестил спину Саши:

– Дай бог, дай бог. Ну, Шурка, на тебя надежа. Помни – одной верёвочкой... – и – громче: – Спасибо, добрый человек. Бабочка больно мучилась.

На улице сыпал мелкий осенний дождик. Под туфлями хлюпнула жидкая грязь. Широкие еловые ветви тяжело прогнулись под скопившейся влагой. Саша, как учил старик, застонала. Положила руки на живот, привалилась к чёрной от дождя бревенчатой стене сарая. Охранник молча смотрел на неё.

«Господи, мальчик совсем... Лет пятнадцать. Голос нарочно грубым делал. Что делается».

– Чего уставилась? Иди давай.

Саша, распластавшись по стене, отдыхала под взглядом детских серо-крапчатых глаз. Глаза изо всех сил хотели казаться равнодушными, а смотрели с жалостью и стыдом. Последнее время она привыкла жить под мужскими взглядами: тяжёлыми, жадными, злыми. Под ними она сжималась в комок.

– Спасибо тебе, – шепнула Саша. Сказала и подумала, что старик сейчас, скрючившись, смотрит, точно смотрит на неё в щель. С неохотой оторвалась от нагретых мокрых брёвен и побрела за сарай. Парнишка-охранник стоял к ней спиной, что-то старательно затапывал сапогом.

Гнилая доска в заборе болталась на ржавом гвозде. Саша пролезла в щель. Доску приладила обратно, туго перевязала платок на голове – и пошла.

Несколько раз попадались низины, где шуршащий дождь повисал серой сплошной пеленой. Несколько раз пробиралась сквозь густые молодые ельники, где её обдавало мелким ледяным душем. Шерстяная шаль на голове потемнела от воды и была насквозь проколота твёрдыми еловыми иглами. Подол пальто волочился по земле – хоть выжимай. На туфли налипли ярко-оранжевые крошки раздавленных рыжиков – так много их было в эту осень.

Её колотило от холода. И вдруг сразу наткнулась на жердяную изгородь, услышала лай собаки... Она кулём перевалилась через жерди, промесила гряды с увядшей картофельной ботвой. Села у прокопчённой баньки – и застыла не ше-

велясь: не то бы десяток струек сорвались и стремительно побежали по груди и спине.

Деревенские бабы сидят под крышами в сухом тепле, возятся у печей. А она вот сидит в мокрых лопухах, вытянув устало ноги – толстая, в одежде, разбухшей от воды, перемазанной в глине.

– Сашенька, – разомкнув губы, хрипло сказала она. Кашлянув, повторила: – Сашенька-а...

В восемь лет у Саши нашли ревматизм и отправили из туманного Петербурга на юг, в богатое село к бездетной тётке. Тёткин дом. В комнатах по крашеным полам бегал целый выводок крохотных злющих собачек. Они, разевая бледно-розовые игрушечные ротки, безголосо таякали и шипели на Сашу.

В гостиной всегда кипел вёдерный самовар. Тётка, поджигая узкие крашеные губы, наливала Саше в гранёный стакан (сама пила из тонкой чашки). Подперев узкий подбородок, внимательно смотрела. Саша, торопясь, глотала – несладкий (ей «забывали» класть сахар), очень горячий – после этого болел обожжённый язык.

Кончив, благодарила, порывалась встать. Тётка её останавливала, наливала ещё, потом ещё. И Саша покорно глотала, хотя желудок её был полон горячей водой.

Своё возвращение домой Саша помнит так. Тесно заставленная мебелью и зеркалами квартира в тёплых жёлтых обо-

ях. В бронзовых люстрах множество ламп – они отражаются в зеркалах. Оттого кажется, что вся гостиная, как корабль, плывёт в колеблющихся огоньках. Всюду напольные тусклые вазы в рост человека. На полах – ковры тёмных благородных тонов.

Из соседней комнаты доносится: «До-ре-ми, до-ре-ми». Это младшая сестра Сонечка разучивает гаммы. Саша кажется себе, по сравнению с сестрёнкой, неуклюжей и некрасивой. Ходит Саша в сером глухом платье, которое туго обтягивает её большую низкую грудь. Она стесняется и всегда прижимает к груди руки. В гимназии над ней смеются.

Мать – рослая, цыганистая, в длинных серьгах – полулежит в кресле. Она с любопытством слушает, как Саша читает вслух. Шевельнув пальцами – на них блистают перстни по несколько штук на каждом пальце – хохочет: «Ах, но у тебя уморительное произношение!»

Она говорит Саше:

– Ты – дурнушка. Но у тебя чудо как хороши волосы. Цвет, густота и кудрявость – как с картин Тициана. Это – редкость... Но, милая, пора тебе подыскивать партию, – она задумывается и забывает о Саше.

Отец однажды приводит обедать сослуживца Миронова: розоволицего, нежного и тонкого станом, как девушка. Миронов почтительно, мягко касается усами стиснутых Сашиных пальцев. И уходит, не оглядываясь и разговаривая с отцом, в его кабинет.

Вечером Саша пристально осматривает себя с разных расстояний в зеркало, взобравшись на стул и приподняв выше юбку. Потом ложится на диван и плачет. Она толста и дурна, толще и дурнее всех девушек на свете.

...Потом всё пошло кувырком. Мать ломала руки и говорила, что они стали нищими. Что их загородный дом с чудесным садом разграблен и сожжён. Но в самой городской квартире было ещё тихо. Так же тяжело висели портьеры, в зеркалах отражались огоньки. По комнатам неслышно ступала красивая равнодушная горничная.

Однажды вечером отец попрощался с семьёй. Поцеловал в густые рыжие волосы Сашу, подержал на руках заплаканную Сонечку. Со злобной страстью целовал в губы жену. Больше его Саша никогда не видела.

Мать уехала с другом семьи, актёром, прихватив драгоценности и перецеловав истерично дочерей. За ними вечером должны были прислать человека. Но выезжать уже стало опасно.

Сонечку взяла к себе няня, а за Сашей пришёл Миронов. Она знала, что будь Сонечка года на два старше (ей было двенадцать), он предпочёл бы, безусловно, её.

На рассвете он крепко спал, красивый и чужой человек, а Саша, отодвинувшись от него, с тоской смотрела в начинавшее синеть окно: «Что дальше?»

Остатки боевого отряда, с примкнувшими крепкими местными мужиками, расположились в глухой тайге, в наспех сколоченных временках. Да ещё стояла в центре охотничья изба: щелястая, продуваемая, продымлённая.

Каждый вечер небольшие группы отправлялись в деревни – сначала близлежащие, потом забирались дальше, по радиусу. Возвращались под утро весёлые, злые, привозили провизию, тёплую одежду, оружие.

Миронов, топая подшитыми белыми валенками, заходил с улицы, ругался: «С-скоты, сена не могли раздобыть между делом».

По ночам Миронов пил водку с офицером Землянкой.

– Слышите, Землянка... (Саша знала, что в это время красивые глаза его хмельно и страшно суживаются и светлеют). Они выгнали из особняка в Лебяжьем маму и Лидочку: ангелов-хранителей, удивительных, благородных тургеневских женщин. Выгнали в сырые подвалы: нежных, хрупких, милых. А в особняк вселилась хамка с обвислым брюхом... чтобы на маминой постели плодить уродов. С-сволочи, м-м! – мычал от ненависти. – Бить их всех надо было, бить – и держать в клетках, чтобы не перебесились. А первых взбесившихся собак стрелять, пока они не заразили остальных.

Землянка, положив сизую обритую голову на дощатый стол, крепко спал, дыша водкой и луком.

– Фу, скотина, нажрался, – Миронов смотрел на него изумлённо, пошатываясь, шёл к Сашиной занавеске. Вдруг

взмахивал руками и ничком падал на нары.

Однажды, когда Саша была одна, кто-то поскрёбся в дверь. Саша, больная, расплывшаяся (она была беременна на восьмом месяце и начинала болеть цингой), вышла из своего угла.

У порога топтался невообразимо жалкий мужичонка в бабьей кофте, в полосатых штанах, крест-накрест повязанный шалью. Он захихикал дурашливо и полез под кофту.

– А вот туточки, – припевал он, – а вот ту-уточки...

Саше пришло в голову, что это сумасшедший. Вошёл Миронов, не глядя на жену, приказал:

– Уйдите к себе, вас это не касается.

Саша, прильнув к занавеске, с любопытством наблюдала за странным гостем. Мужичонка, напевая и подёргиваясь, всё шарил за кофтой. Наконец, извлёк захватанный, густо исписанный клочок бумаги. Миронов закурил; брезгливо отставляя мизинец, развернул бумажку.

– Ну, объясняй, олух царя небесного, чего нацарапал. Да не придвигайся близко – чёрт-те чем воняешь. Хотя бы в снегу вывалялся. Дурак.

Мужичонка, хихикая, подобострастно тыкал в бумажку грязным пальцем:

– Значится, всё как приказывали. Первый – ясней ясного, Мазухин Ванюша. На тяпке с войны прискакал и шибко нехорошо себя повёл, господин офицер. И какое, спрашива-

ется, ему дело, скоко у тебя овец, скоко кролей. Восставший город, мол, кормить надо. А нам исть не надо? Испортился парень вконец, – мужичонка, искренно сокрушаясь, почмокал губами. – Второй: бригадир наш, Петр Яковлевич. По причине муштинской болезни призван в ряды ополченцев не был, хоть имел к тому сильную охоту. Земля под ногами горит – так, господин офицер, вас и ваш прежний режим ненавидит.

А вот туточки, под третьей цифрой в кружочке я Анютку отметил, дочку Филимона Григорьева. Сам Филимонушка воует нынче протии вас, господин офицер, на Амге. И Анютка, вишь, туда же, шустрит. Девка худая, безродная, всю жизнь коров за сиськи дёргала. А тут на тебе: революция, – мужичонка чисто и бойко выговорил слово, утёр губы рукавом. – И бегают наша Анютка по селу, парней-девок мутит, на непослушанье законно избранной власти подбивает...

Вечером Миронов стал собираться. Саша со страхом смотрела из-за занавески, как он суёт ноги в тёплые валенки, топает ими о пол. Потом не спеша кутает нежную шею вязаным шарфом, снимает с гвоздя светлый овчинный тулупчик и белую папаху.

Землянка, по какой-то причине трезвый с утра, злой и бледный, разбирал и смазывал на столе трофейное оружие.

– Алё, Землянка. Слыхали новость? Некто иной, как зна-

менитый Григорьев, обитал в Ключах. А дочка и ныне там. Каково?

– Ну, так что? Фейерверк, что ли, задумал?

Миронов засмеялся:

– И это не лишнее. Но мы кое-что послаще придумаем. А?

– Всю деревню, что ли? – Землянка смотрел уже с интересом.

– И это не лишнее, – весело откликнулся из сеней Миронов. – Ко-олька! До сих пор не оседлал, скотина.

Саша на следующее утро плохо себя чувствовала. Лежала, тихонько шевелясь от боли, убаюкивала себя: «А-а-а... А-а-а». Забылась – или заснула. Очнулась, когда мартовское солнце заполнило и высветило избушку. На заросших грязью половицах лежали столбцы света. Над головой Саши дрожал на брёвнах весёлый зайчик от колодезной воды в ковшике.

На краю лавки у печи сидела светлая девочка в одном платьишке, с шерстяным платком на плечах, в больших валенках на тонких ножках.

Девочка сильно замёрзла, под носиком подсохла кровь. Искусанные губы вздрагивали. Тонкие ладошки она прикладывала то тут, то там к остывающей печи.

Вся она была съёженная, остренькая, с измученным личиком, со вздыбленными волосами, заплетёнными в тощие, загнутые кверху косицы. Несколько раз девочка с жалостью взглядывала в сторону лежащей Саши.

– Кыс, кыс, – позвала она худую старую кошку, насторожённо смотрящую с печи на незнакомого тихого человека, от которого не пахло табаком и который не стучал тяжёлыми сапогами. – Кыска, поди же сюда!

Девочка откинулась с зажмуренным личиком к печи.

Саша снова забылась. Очнулась ночью. Было темно, тихо и так страшно, что ослепительный солнечный день и светленькая жмурящаяся девочка казались увиденными во сне. Боль становилась противнее, тяжелее, передвинулась книзу. Саша подумала со страхом: «Начинается...»

Хотелось пить. Ковш у изголовья был сух – наверно, голодная кошка вылакала воду. А пожилой отрядный костровый дядька Иван сегодня был взят в налёт, и некому было налить воды в ковш и вынести таз с помоями.

Теперь ей казалось, что выпей она кружку холодной, натаянной из снега воды – и тошнота исчезнет, и боль перестанет выворачивать... В пристройке избышки стоит чан с водой. Вода замёрзла, но она отколупнёт топориком кусочек льда и будет сосать.

Саша, держась за стены, направилась к сениям. И не дошла, услышав мужские голоса, отчётливое тяжелое дыхание, будто там занимались трудной физической работой.

И ещё одно дыхание пробивалось – лёгкое, частое. Этот последний дышал всё короче, и раздался протяжный девичий крик, полный муки: «Ой, матушки! Не могу!»

Саша узнала голос Миронова, прерывающийся, вздрагивающий:

– Что, она кляп вытолкнула? Ч-чёрт, ноги ей держи... Где тряпка, скоты?!

Тонкий голос захлебнулся, умолк. Снова были слышны возня и мужское дыхание. Саша, слабея, начиная понимать, телом толкнулась в дверь...

В углу пристройки под морожеными свиными и бараньими сине-розовыми тушами, прикрученными проволокой к перекладине, в морозном пару, на расстеленной на столе рогоже – запрокинутая голова с разлетевшимися лёгкими волосами, вывернутые локтями, скрученные проволокой голенькие руки, замёрзшие крупные капли алой крови на полу – и несколько тепло одетых, расстёгнутых мужчин, склонившихся над привязанным к столу, безжалостно вытянутом на рогоже маленьким белым телом.

Саша, с ввалившимися глазами, разинув рот, страшно закричала...

– В жизни, Александра Васильевна, у каждого человека с роду бывает свой смысл, и каждый оттого получается правым. Вот и выходит, что маленьких правд на свете – тыщи. А общей, большой, чтобы для всех была – нету.

У вас, к примеру сказать, свой смысл, бабий: жалеть и через то мученья принимать. Девчонку-то Надьку пожалели – а и её не спасли, и ребёночка скинули. Опять же, с другой

стороны, если баба жалеть перестанет – это что получится? Это получится, что род людской прекратится. Так что уж бог с вами... Жалейте себе на здоровье.

– Как же так? – шепчет Саша. Она лежит после бреда, влажная, под бараньим тулупом. Смотрит со страданием на старика-кострового, который кормит её из кастрюльки супом. – Значит, и *он* прав? Девочку?... – она отворачивается и плачет.

– А как же, – серьёзно подтверждает старик. – Господин Миронов очень даже правы. Сами посудите: бунтовщики всё до нитки у них отняли, с мамашей и сестрицею разлучили. При их характере и нынешнем положении как они сердиться не будут? Очень даже сердиться будут, и мучить да убивать будут – чтоб сердце отвести.

Саша смотрит воспалёнными глазами, мучительно сообщает.

– А новая власть?... Права она?

– И ещё как права-то, – подхватывает охотно старик. – Вы, Александра Васильевна, нужды народной не видали. Куда боле терпеть. Господа с жиру бесились, над народом изгилялись, не знали как ещё пыль в нос пустить. Озлились людишки, вздыбились... Пока дыму хватит, конечно.

– Дяденька Иван, а ты? У тебя – есть смысл?

– Вот те раз, – обижается тот. – Это только животная бессмысленно живёт и удовлетворяется.

– Так зачем ты за нас? Значит, ты за нашу правду? – на-

стаивает Саша.

– У меня, милая девка Александра Васильевна, свой смысл имеется, своя правда. Она крепче, чем у бунтовщиков, или, наоборот, у господ будет. Она посередке, самая живучая, моя-то правдишка.

– С нами-то зачем? – чуть не плача, добивается Саша.

– А затем, что так сподручнее пока. А там поглядим: может, стёжки-дорожки и разойдутся. Это вы тут пуповиной приросли, а у меня особой привязки не имеется. Запасец имеется: не зря со смертью в обнимку ходил...

С моей-то правдой, Александра Васильевна, не пропадёшь. Кровь маленько попускают – и айда опять жирком обростать. Мы – народ, за нас бунт поднят. Вон оно как. Ра-ано, рано ещё дядьку Ивана списывать на печку пускать шептунов...

Саша отворачивается и закрывает глаза – она устала. Старик ходит на цыпочках, моет ложку и кастрюльку. Но не уходит, а переминается у двери.

– Чего тебе, дядя Иван?

– Александра Васильевна, вы уж господам офицерам не пересказывайте... Язык проклятый стариковский, чистое помело... Когда-нить пропаду через это... Да и куда сбегу я?

– Господи, ещё выдумал... Иди себе, иди.

Странная дружба связывает кострового и Сашу. Неделию назад он обмыл крошечного покойника; ухватывая толстыми

негнушались пальцами иглу, сшил из своей чистой бязевой рубахи саван. Сколотил сосновый гробик и даже украсил его полоской грязного кружевца.

Однажды Саша встала и, хватаясь за стены, вышла на крыльцо. Было тихо, пасмурно и тепло. Всюду таял снег, с крыши капало, и пахло весенним оживающим лесом. Саша стояла, прижавшись щекой к чёрному мокрому столбику, и улыбалась, стыдясь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.